

Институт иностранных языков — в начале проспекта имени Сталина. Новогодний вечер. Я — саксофонист. Мишка бацает на гитаре, Серёга — на контрабасе, Марк — пианист и солист, певец, выброшенный или заброшенный к нам прихотливою волной на берег. И ризу ему свою сушить не придётся, а только ещё более её “увлажнить” у скалы искусства... Ударник — Лёха, он не заяц на барабане, а белка в колесе.

Ёлка зажглась. Она блистает, и в ноздри слегка втягивается запах хвои... Студенты, аспиранты, преподаватели и сам ректор Владимир Васильевич Боярин, и гости из военных училищ тут. А потому, что институт этот — почти что Смольный, институт благородных девиц. Девушек красивых множество.

Марк негодяйствовал на клавишных инструментах злодейски, за что был изгнан со второго курса из консерватории... Пришлось зарабатывать хлеб свой в джазе, и я всегда, кроме прочего, приглашал, его, если выдавалась возможность, попадалась очередная халтура.

Девушки красивые, блистающие — прекрасны, все, как на подбор, в элегантных платьях, серёжках, колье, в наперстных кольцах, легки и подвижны, гибкие, как лозы... Хороши телом, породистостью... “В породе, — говорила мама, — сынок, вся красота девки”. Это было негласным намёком на то, какой бы она хотела видеть свою будущую сноху. Тётушка Дарья

добавляла к этому: “Чтобы она была кукобницей в хозяйстве, рукодельницей... Чтоб она тебя любила, а самое главное — ценила бы тебя... Господи, какие слова, сколько в них мудрости, поболе, нежели в неких книгах...”

От шара, подвешенного к потолку, играл свет, мягкими пятнами кружась в воздухе и по паркету. Ёлка очаровывала своим убранством. Словом, всё располагало к радости и вносило в душу праздничность.

Мы работаем для праздника и во имя праздника... Однако радость в нас стояла, как фалернское вино в древней чаше... Работали до росистого пота. *В поте лица добывали хлеб свой.* Но в данном случае мы праздновали Новый год и приближали его голосами своими, музыкой.

Марк, наш вещей Маркус, сидел боком к залу за своим элегантным ро-ляем. Пиджак висел на спинке стула. Его рубаха и подтяжки взмокли. Его чуткие пальцы то твёрдо отбивали стаккато, то мягко, как ручей, протекали по клавишам. Ударник Лёха смотрел в зал из-под чёрных бровей, как сыч, и в такт танцу, мелодии подплясывал на стуле, как всадник на лошади... Он изматывал педаль с колотушкой, которая со стуком билась в бычью шкуру барабана. Оркестр для этого и существует. Два малых барабана и литавры, тарелки создавали отступ, бойню и вместе с тем — шум. А что такое музыка? Это упорядоченный шум.

Серёга, контрабасист, плечистый и высокий, поплёскивал гладко причёсанными волосами, сдобренными бриолином. Он мягко и невидимо мучил толстые струны своего друга-великана контрабаса. А когда входил в раж, вертел его, как вертит солист балета балерину под своей возвышенной рукой.

Мы после вальса и танго ударились в рок. Он по форме своей несёт ритм. Мелодии в нём, как таковой, почти нет, только солист, если сумеет, как Эл Пресли, её показать, произнести... Рок-н-ролл и вообще джаз — это не духовой оркестр, который возвышает дух и может мёртвого поднять, как говорили солдаты, уставшие в походе. Джаз эксплуатирует инстинкты.

Моё соло как саксофониста стоило мне немалых усилий, особенно в импровизации. В роке идёшь синкопой. Подчиняешься ритму, его молотье, а ритм мы несём спиралью, выкручивая из тела всю его возможность и ближних, и неближних, танцующих, выражающих нашу музыку в движении, — они наши соработники... Взвизг, и понеслась, сердце выпускается на волю! И я стегаю, как пастух кнутом, воздух, прах земли и паркета... Но попутно, когда частишь, отдаёшь тянуть воз фортепьяно, ударнику и контрабасу. Пауза... Идёт, раскатывается ковёр ритма. Чёткий, бархатистый, как лошадиные сказочные копыта, обутые в мех...

И вот оно: я сделал незаметный знак Маркусу и взмахнул хоботом саксофона-тенора, который взвыл, как голодный волк в заснеженной степи на луну. Сани неслись в пыли снегов. Кучер надёжен, силён и слегка пьян... Таким образом, я накрывал всю какофонию и междоусобицу звуков, якобы спасая их и собирая их в единство... Импровизация — это не есть свобода, это стройный невыход из заданности песенно-ритмической идеи. Голос протяжный саксофона — это византийская поволока. Я даю соло, потому что беру.

Игра музыканта, певца, поэта есть не просто игра в жмурки, скажем, прятаться и искать. Мы играем жизнь нереальную, в звуке — идеальную, но это тоже жизнь, она истекает из одного источника жизни.

Да настал свет! Сладко и славно. Это наша победа. Аплодисменты. Хлопанье в ладоши. Так наши предки вызывали солнце...

В раздевалке ко мне подошла красивая девушка, становитая и гибкая, с большими тёмно-карими глазами, густыми ресницами. Она, краснея, прерывисто благодарила меня. “Вы чудесный музыкант”, — она возвела на меня очи и тут же их опустила... Я не слышал её слов. Но голос был чистый, как нагорный ручей, и певучий. Меня это слегка поколебало. Я почувствовал, что слегка. Зачем в эти часы предновогодние... На такие привычные признания я ответил, поклонившись, и пробормотал:

— Благодарю вас...

Но она стояла, не двигаясь. Вокруг — шумная весёлость и теснота, молодая и счастливая... Я кашлянул. Ко мне подкатил Лёха и бросил:

— Одевайся, сынок, нас ждут!..

Девушка, её звали Еленой, полоснула меня взглядом. Устоять нелегко. Мы оделись и вышли на тротуар проспекта. Белые, нежные снежинки, падая, устилали стёжки-дорожки мягким и пушистым снежком, как тополиным пухом. В глазах моих посветлело и потеплело. У бровки тротуара стояла белая “Волга”. Рядом — высокий, в дублёнке с пышным воротником ректор Арсений Михайлович. Шофёр открыл дверцу и махнул нам рукой. Рядом с ним уселся грузно Арсений Михайлович.

— Тебе куда, Володимир?

— Рашкина дача, на Слобожанскую...

И рядом со мной — Елена. Я слегка опешил.

— Елена, ты куда поедешь? — пробасил Арсений Михайлович, обернувшись, и поправил свою ондатровую шапку.

— Я — с Володей, — произнесла она как ни в чём не бывало.

Мотор, как застоявшийся конь, легко понёс нас. Перекатили Харьковский мост, где стояли статуи Богдана Хмельницкого и нашего Ильи Муромца. Арсений Михайлович протянул мощную, но тонкую ладонь. Попрощались. И мы с Еленой подошли к моей калитке.

Ветерок тихий проносил с осторожностью вдоль по улице снежинки. И вдруг Елена запела:

— Как со вечера пороша, а с полуночи метель, а по этой по метели трое саночек летели...

Я был сражён напрочь. Какая непосредственность и смелость. Во мне кольхнулось желание поцеловать её. Но воспитание... Я распахнул калитку и пропустил Елену вперёд, прочёл ей в отместку Пушкина:

*И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и выюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе!
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!*

И тут случилось неожиданное. Елена обвила крепко мою шею и накрыла своими губами рот мой... Ох, не знаю, сколько он длился, этот поцелуй, но я был если не потрясён, то удивлён весьма... Стоял, как остопоп. И глядел на неё в изумлении. Она же улыбалась беззастенчиво и светло. Да... вот незадача. Я даже не ведал, что и подумать. Порыв. Безоглядность чувства. Опыт. Но скорее — искренность. Меня редко подводила интуиция. Я обнял её по-братски. У моего соседа окна светились, заштрихованные мягкою порошей. Доносился весёлый говор и шум. Кажется, радиолка несла песню Утёсова: “Только грянет над Москвою утро вешнее, // золотятся потихоньку облака... // Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему // И, как прежде поджидаем седока...”

Мои отец и мать отправились в посёлок Залютино к старшему брату батюшки дяде Андрею. Старшая сестра Людмила заваялась с подругами к “вентиляторам”, будущим лётчикам, в Лётное училище. Там новогодний бал. Следственно, можно пригласить Лену к себе. Что я, ничтоже сумняшеся, и сделал. Она запросто вошла и скинула шубу.

Я откупорил шампанское, оно величественно блистало на столе. Чистота в доме была безукоризненной. Стоял лёгкий и тонко постанывающий запах пирогов. Печь пироги моя мама была мастерицей, да и куличи к Пасхе она пекла на удивление прекрасно.

Мы с Еленой пили вино, не шампанское. Провожали старый год. Она, повеселевшая, но по-прежнему загадочная, не сводила с меня глаз. Мне это было непривычно. Тем более, что мы были одни. Настенные часы показывали без пяти минут двенадцать. “Пять минут, пять минут...” — доносилось откуда-то. Молчали. Я включил приёмник. Куранты пробили полночь! Мы выпили шампанского и непорочно поцеловались... Мало-помалу у нас пошёл тихий, но содержательный разговор. Признаться, я был несколько смущён. Чувствовал интимно присутствие Лены. Она была чем проще, тем загадочней. Я не знал толком, как себя вести с ней. Наконец, нашел ключ к нашей беседе:

— Елена, а кем тебе доводится Арсений Михайлович?

— Это мой папа.

— Да... отец, — сказал я, чтобы что-то сказать.

Она, улыбаясь:

— Разумеется... И я тебя знаю давно. Я видела тебя в твоём Строительном институте, на студенческом вечере Восьмого марта... Ты мне очень понравился. Но ты не пригласил меня на танец. И я всегда приходила туда, где ты играл танцы. Даже в парк Горького на открытую площадку... И вот увидела тебя в нашем институте... И мне ничего не оставалось делать, как подойти к тебе и поздравить.

Мне показалось, что она вот-вот заплачет...

— Папа мой об этом знает...

— Что знает?

Она умолкла, и тихая слеза сверкнула на её густых, очень красивых, очень дорогих ресницах.

Я испугался самого себя... Вдруг послышался стук в дверь. Открыл. Сам хозяин и его дочь Раиса на пороге. Шумные, весёлые.

— Володя! О... Да, мы тебя решили позвать-пригласить к нашему столу. Я завалил кабана... Пойдём, выпьем за Родину, выпьем за Сталина...

Таковую речь произнёс воин Рыкунов-старший. Делать нечего, согласились. Минут через десять мы с Еленой вошли в их залу. Шла самозабвенная пляска. Елена смотрела на сей пир широко раскрытыми глазами.

Веранда, залитая светом, подрагивала. Таисия, дочь, и её муж Вениамин отплясывали перед анфиладой танцующих, бьющих безжалостно в дубовые доски пола. Люстра в тупом блеске непонимания подрагивала. Женщины средних лет были упитанные, белые да румяные. Моё настроение поднялось. Я несколько пришел в себя и обнаружил в себе прежнюю бесшабашность. Прочь лирику. Праздник есть праздник. Заиграла пластинка. И я, подхватив Елену, как ветер, закружил её в нахлынувшем вальсе. Вальс танцевали все, кто ещё мог. А потом мы с моей новой подругой налегли на животворную еду. Хватанули по бокалу шампанского. Супруга Рыкунова нас обслуживала лично. Лучший кусок — нам. Ещё подавали и холодец. Это одно из лучших блюд для меня. Он пахивал копчёностью, поскольку тушу обжигали в соломе, паяльной лампой позднее, обжигали через мешковину, рядно...

Мужики попивали кто водчонку, кто самогон... Я поспешил с Леной откланяться. Нас не отпускали.

— Ох, Володенька, да какая жа у тебе невеста, хорошая да пригожая, — восклицала хозяйка громким тенором. И поцеловала её в раскрасневшуюся щеку.

— Да, девка красная, хоть куды! — подытожила её сноха.

Мы с поздравлениями Нового года отправились ко мне.

Я включил свет. Поставил пластинку Петра Лещенко: “Где же ты теперь, моя Татьяна, // моя любовь и наши прежние мечты...” Она порывисто обняла меня... Дальше нет слов. Она отдалась мне со всей своей искренней молодостью. Жертвенно и безоглядно...

Я проглотил жадно бокал шампанского, она пригубила... Сидели рядом на диване. Я спросил:

— Зачем так?

— Потому что я тебя люблю. Об этом я сказала отцу. Он хотел меня отдать замуж за сына своего друга... Но я наотрез отказалась. И сказала, что люблю другого... То есть тебя, мой Володя.

Заплакала. А ведь я так впервые...

— Да, — тихо ответил я.

И сначала мне стало на душе тоскливо... Но затем откуда-то из глубины появилось чувство радости. Я обнял её:

— Елена, позволь слово молвить!

Она прижалась ко мне, этот маленький *аленький* цветочек.

— Никогда тебя не брошу, — твёрдо сказал я...

Она ещё чуть-чуть и совсем бы разрыдалась. Но я крепко прижал её к себе, как малое дитя.